



А. С. БОГОМОЛОВ

Английская буржуазная философия XX века

<Фрагменты>

Логический атомизм и «Трактат» Витгенштейна

«Логико-философский трактат» Людвиг Витгенштейна — довольно сложное произведение, в котором сочетаются как логические, так и чисто философские проблемы. Среди последних прежде всего важна разработка им той проблемы, которой Рассел не уделил достаточного внимания, — как конкретно наш «язык» относится к миру, о котором мы говорим, и в чем состоит характер тех «атомарных фактов», из которых этот мир состоит. Витгенштейн констатирует с самого начала некоторые онтологические положения: мир состоит из фактов; факты в логическом пространстве составляют мир. Факт — это то, что делает предложение истинным или ложным. Он может содержать части, являющиеся фактами, или не содержать их. В последнем случае это атомарный факт. Атомарный факт, хотя он и не имеет частей, являющихся фактами, состоит из объектов (вещей, предметов). Объекты просты, и их имена суть первичное в логике, поскольку наименование комплексов (фактов) предполагает предложения, а предложения — имена объектов.

Полное описание мира подразумевает знание всех атомарных фактов, в том числе и того факта, что все они известны. Из этой совокупности атомарных фактов могут быть выведены все молекулярные предложения. Проанализировав теорию вывода, Витгенштейн сумел распространить построение функций истинности, данное в «Principia Mathematica», на общие предложения.

Перечисленные принципы составляют пока что развернутое описание расселовских принципов логического атомизма. Витгенштейн внес, однако, в эту теорию и нечто свое. Это была разработка концепции соотношения атомарного факта и атомарного предложения как *отображения* факта в предложении.

Всякое предложение, утверждал Витгенштейн, должно иметь ясный и определенный смысл. Этот смысл и определяется отношением предложения к «миру», т. е. отношением *образа* и *факта*. Предложение — это «образы», «картины фактов», имеющие с фактами общую *структуру*. *Всеобщим условием* отображения факта в предложении является логическая форма. «То, что каждый образ, какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог ее отображать — правильно или ложно, — есть логическая форма, то есть форма действительности»¹. Именно она позволяет моделировать действительность, причем элементы образа замещают в образе объекты. «Образ состоит в том, что его элементы соединяются друг с другом определенным образом»².

Итак, «отображение», о котором говорит Витгенштейн, это воспроизведение логической формы, которая, по определению, представляет собою в то же время «форму действительности». Следовательно, и «Трактат» основан на онтологизации системы логики, разработанной Уайтхедом и Расселом. Но Витгенштейн отдает себе отчет в *незаконности* этой операции, ибо: «Предложения могут изображать всю действительность, но они не могут изображать то, что они должны иметь общим с действительностью, чтобы быть способным ее изображать, — логическую форму»³. Последнюю они могут только *показывать*. Но то, что не может быть высказано, вообще для нас не существует, ибо «Границы моего языка означают границы моего мира»⁴. А это значит, что «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно *показывает* себя; это — мистическое»⁵.

Вопрос, который теперь перед нами встал: как же быть с этим «мистическим»? Что это такое? Каково его место в философии? Традиционный взгляд, представленный Расселом, Карнапом и другими и полностью соответствующий строгому смыслу неопозитивистской доктрины, состоит в том, что Витгенштейн требует удаления «мистического» из философии. Ведь об этом как будто бы свидетельствуют четкие указания Витгенштейна: «Цель философии — логическое прояснение мыслей»⁶, или «Правильным методом философии был бы следующий: не говорить

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 2.18.

² Там же. 2.14.

³ Там же. 4.12.

⁴ Там же. 5.6.

⁵ Там же. 6.552.

⁶ Там же. 4.112.

ничего, кроме того, что может быть сказано, следовательно, кроме предложений естествознания, то есть того, что не имеет ничего общего с философией, — и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях»⁷. Не правда ли, все ясно?

Но ведь у Витгенштейна имеются и утверждения другого рода. Например, «Она (философия. — А. Б.) должна ставить границу мыслимому и тем самым немислимому. Она должна ограничивать немислимое изнутри через мыслимое». Или, еще более решительно: «Она означает (means) то, что не может быть сказано, ясно показывая, что может быть сказано»⁸. Разве не прав Г. Петрович, утверждая на этом основании, что для Витгенштейна «ясное показывание того, что может быть сказано, само есть средство для осуществления главной задачи философии: *показывать то, что не может быть сказано*»⁹. И ведь в самом деле давно известно, что «всякое определение есть *ограничение*».

Г. Петрович ухватывает действительную проблему, хотя и чересчур прямолинейно. Трудно согласиться, что Витгенштейн считал задачей своей философии «показывать то, что не может быть сказано». Это, скорее, обратная сторона исходной установки как Витгенштейна, так и всего неопозитивизма. Ведь если «метафизика» как рассуждение о том, что «не может быть сказано», выводится за пределы *научной* философии, то тем самым открывается простор для философии *ненаучной*, и против последней научная философия ничего не имеет сказать; она даже строго определяет ее сферу и границы. Одним словом, это то же самое, о чем мы говорили применительно к трактовке Расселом «практических мотивов и интересов», изымаемых из сферы действия «научной философии». Постановка Расселом вопроса о социально-политической (идеологической) функции философии расширяется Витгенштейном до вопроса о мировоззренческой функции философии, как таковой: отвергается мировоззренческая функция научной философии в целом.

Но есть у проблемы и иная сторона. Витгенштейн, сделав задачей философии «прояснение мыслей», явно следует установкам позитивизма в целом, и в особенности махизма, которым он увлекался в юности. Вспомним, например, утверждение Г. Корнелиуса о том, что «*философское искание* (деятельность! — А. Б.)

⁷ Там же. 6.53.

⁸ Там же. 4.414.

⁹ *Petrovich G. Od Locke'a do Ayera*. Beograd, 1964. С. 150.

тождественно везде с *стремлением к ясности*»¹⁰. Однако, связав «ясность» с ясностью *языка*, Витгенштейн открыл себе пути для явного сближения с иррационализмом. Нельзя не вспомнить здесь, что другое юношеское увлечение Витгенштейна — это Шопенгауэр¹¹ <...>.

Приведенные отрывки позволяют утверждать, что проблема «показанного» и «сказанного» не сводится к логической проблеме возможности построения метаязыка, негативно решаемой Витгенштейном¹². Это именно философская проблема, относительно которой Витгенштейн должен был сказать последнее слово. Он это и сделал: «6.54. Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх)».

Несколько аспектов можно обнаружить в этом положении. Во-первых, явное родство с фикционализмом Файхингера, утверждавшего, что философские (как, впрочем, и естественнонаучные) понятия — это фикции, вспомогательные средства, которые могут быть отброшены после того, как с их помощью достигнут искомый результат. Это именно та «фиктивная деятельность» логического мышления, в которой Файхингер видит «производство и использование таких логических методов, которые стремятся достичь целей мысли с помощью *вспомогательных понятий* — таких, на лбу у которых более или менее написана невозможность существования как-то соответствующих им объективных предметов»¹³. Действительно, используемый

¹⁰ Корнелиус Г. Введение в философию. М., 1905. С. 12.

¹¹ Сравнительное исследование философии Витгенштейна и современного иррационализма приводит к интересным результатам. Так, сравнение взглядов Витгенштейна и Хайдеггера показывает, что эти два философа, справедливо рассматриваемые как представители крайних полюсов современной идеалистической философии, разделяют целый ряд общих установок. И Витгенштейн, и Хайдеггер ставят под вопрос «прежнюю метафизику», оба они считают философию чем-то радикально отличным от конкретных наук; оба ищут ключ к «бытию» в языке. Даже в их философской эволюции есть нечто общее.

¹² Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 110–111. У нас нет возможности анализировать здесь собственно логичное содержание «Трактата», бывшего, по словам В. Ф. Асмуса, «одним из неустрашимых звеньев в развитии логики XX в.» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 7). Об этом подробно говорится в предисловии В. Ф. Асмуса к русскому переводу и введении Б. Рассела к английскому переводу этой книги.

¹³ Vaihinger H. Philosophie des Als-Ob. Leipzig, 1923. S. 13.

в науке прием (например, математическое рассуждение методом погашения противоположных ошибок) возводится здесь в философский принцип. Во-вторых, мы находим здесь парадоксальное для неопозитивиста утверждение, что наряду с обычной «метафизической бессмыслицей», запутывающей людей, может существовать бессмыслица, *проясняющая* дело. Однако ярче всего выступает здесь, конечно, окончательная катастрофа логического атомизма, на причинах и характере которой стоит остановиться подробнее <...>.

Проблема языка. «Язык-игра»

Нельзя выработать единое и «строгое» определение языка, считает Витгенштейн. Исходный элемент языка, слово, подобно инструменту: функции слов различны, как различны функции инструментов. Нельзя, например, сказать, как часто делают, что слова «означают нечто», точно так же, как нельзя сказать, будто с помощью инструментов мы «изменяем нечто». Есть слова, которые ничего не означают, например некоторые слова в «Алисе в стране чудес», известной сказке Льюиса Кэрролла, и инструменты, которые ничего не изменяют, — рулетка, например. Именно поэтому нельзя уподобляться тем логикам (к их числу относится и автор «Логико-философского трактата», самокритично замечает Витгенштейн), которые видят в языке совокупность символов, однозначно соединенных с их объектами. Значение вовсе не объект, соотношенный с данным словом; поиски же «значения» в этом смысле — это нечто подобное поискам «субстанции» языка или любой другой «субстанции» прежними метафизиками. Вместо этой процедуры он предлагает исследовать *формирование* реального языка и его *функционирование* не в сфере искусственно построенных исчислений, а в жизни.

С точки зрения Витгенштейна, слова определяются или наделяются значением или путем словесного определения, т. е. выражения смысла термина другими словами, или же с помощью остенсивного определения, т. е. указания на предмет с одновременным произнесением избранного для его обозначения слова. Первое определение не выходит за пределы языка, а потому не представляет собою подлинного определения; второе составляет более реальный шаг к надделению слова значением. Но и здесь возникают трудности. Как определить слова «один», «число», «нет» и прочее? Указанием на что? Очень часто, хотя и не всегда, это можно сделать указанием на их функцию в языке точно так же, как каждый отдельный инструмент определяется

по его функции. Поэтому «для обширного класса случаев — хотя не для всех, — в которых мы используем слово “значение”, оно может быть определено так: значение слова есть его использование в языке»¹⁴. А язык не исчисление, но часть «обычной человеческой деятельности», «форма жизни»¹⁵.

Это очень важное и, абстрактно говоря, совершенно верное утверждение выступает, однако, у Витгенштейна основанием для предположения, что язык — это *игра* согласно определенным, но многообразным и в большой степени произвольным правилам. Термин «язык-игра» призван подчеркнуть, во-первых, неразрывную связь языка и действия; во-вторых, произвольность, а потому несомненность принимаемых правил; и, в-третьих, невозможность идеального языка и идеального выполнения его правил. А отсюда вытекает несколько важных философских следствий.

Неразрывная связь языка и действия приводит Витгенштейна к заключению, что нет смысла говорить о связи языка с *мышлением*. Признание особых процессов мышления, по мнению Витгенштейна, часто приводит к парадоксальному выводу, будто в них производятся операции над вещами, которых нет, не было, а возможно, и не будет. Нас вводит в заблуждение сам термин «мыслить» в применении к несуществующему: как можно мыслить несуществующее? И все попытки ответить на этот вопрос тщетны; это «метафизический» вопрос, выражающий лишь грамматическую неясность. «Ядро нашего высказывания о том, что некто испытывает боль, или видит, или думает, состоит только в том, что слово «я» в предложении «я испытываю боль» не обозначает особого тела, ибо мы не можем подставить на место «я» описание тела»¹⁶. Следовательно, в трактовке соотношения физического и психического Витгенштейн становится на «лингвистические» позиции: их различие есть различие языковых игр, и попытка связать их, ассимилировать психологические понятия в физический язык, или наоборот, есть лишь смешение двух языков, подобное тому, как если бы мы стали говорить о голах, играя в теннис. Чтобы этого не произошло, следует отбросить «окультурную сферу» мышления, психического, оставив лишь поведение. Так Витгенштейн приходит к бихевиоризму.

Однако это решение устраняет важнейшее из свойств человеческого *поведения* — способность составлять идеальный план

¹⁴ Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1963. P. 20.

¹⁵ Ibid. P. 82.

¹⁶ Wittgenstein L. The Blue and Brown Books. Preliminary Studies to the “Philosophical Investigations”. Oxford, 1958. P. 74.

действия, загодя «проигрывать» его, не осуществляя непосредственных действий. Именно этим, говорил Маркс, отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы. Мышление — *реальная* деятельность человека, и попытка снять ее с обсуждения — лишь свидетельство ограниченности теоретической концепции Витгенштейна, за связью языка и действия не видящего связи языка и мышления, мышления и действия. Можно сказать при этом, что он подменяет идеальное «проигрывание» действия «проговариванием» его, без которого первое невозможно, но к которому оно не сводится.

Произвольность правил «языковой игры» выводится Витгенштейном из того, что необходимо различать язык и «действительность», поскольку последняя, вопреки взглядам логического атомизма, не отражается в структуре языка. Поэтому предложение получает значение не из фактов, но «из системы знаков, из языка, которому оно принадлежит»¹⁷. Грубо говоря, понимание предложения означает понимание языка.

Конечно, понимание предложения есть в конечном счете понимание того языка, которому оно принадлежит (хотя мы часто знаем и понимаем ходячие фразы чужого языка, не зная этого языка — вспомним «хальт» или «хенде хох», известные каждому мальчишке времен Отечественной войны). Но понимание предложения в то же время есть понимание действительного положения вещей, выраженного в предложении правильно или неправильно, и проверка не сводится здесь к языковым критериям. Витгенштейн же, убедившись в несостоятельности логико-атомистических представлений о языке, будто бы однозначно отражающем в своей структуре структуру реальности, бросается в противоположную крайность, совершенно отрицая отражение действительности в языке.

Однако в общем и целом Витгенштейн остается в рамках неопозитивистских представлений о языке. И в «Философских исследованиях» язык обладает способностью на основе своих правил формировать представления о мире. Но если раньше Витгенштейн писал, что комбинации символов (предложения) отражают структуру фактов, то теперь они выражают правила языковой игры, и любое построение «слепо» им следует: «Когда я следую правилу, я не выбираю»¹⁸.

Но как быть в таком случае с развитием языка? Витгенштейн считает, что возможны различные формы языковых игр, и при-

¹⁷ Ibid. P. 5.

¹⁸ Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1963. P. 85.

том можно «строить сложные формы из простых посредством присоединения новых форм»¹⁹. Причем это не стадии развития или стороны единого языка, но именно *различные* языковые игры, имеющие различные функции: отдавание приказов и повиновение им, описание внешнего вида объектов или измерений их, конструирование объектов по описанию, сообщение о событии, формирование и проверка гипотезы, представление результатов эксперимента в таблицах и диаграммах, сочинение и чтение рассказа и прочее²⁰. В то же время языковые игры — это *модели* многообразных форм лингвистического поведения, простые формы реальных языковых действий, позволяющие сравнивать эти действия, выявлять их сходства и различия.

Но как относятся они к тому «повседневному языку», исследовать который призывает Витгенштейн? Он «масса не вполне четко очерченных языков»; в нем содержатся основные виды языковых действий, которые могут быть из него вычленены; на основе последних мы учимся разрабатывать и применять более сложные «технические языки-игры». Язык замкнут в себе, «монадичен».

М. С. Козлова в своей работе «Концепция знания в философии Л. Витгенштейна» правильно отмечает, что источник «монадизма» в понимании языка — это «разделение человеческой деятельности на различные сферы и соответствующие им особые языки...», а также «тот факт, что чрезмерное обособление различных областей знания выражается в несопоставимости научных языков... Но ведь язык (знание) не механическая сумма раздробленных сепаратных систем. Аналитическое проникновение в неповторимую специфику явлений совершенно неотделимо от задачи интеграции знаний, ибо кажущиеся абсолютно уникальными области явлений на самом деле представляют собой особые сочетания более общих по отношению к ним свойств и закономерностей»²¹. Язык возникает и изменяется в ходе общественно-производственной деятельности людей; в силу этого его правила не только выступают как некоторое единство (почему мы можем с полным правом говорить о национальных языках как некоторых целостностях, в которые входят и «научные языки» отдельных научных дисциплин), но и отражают в своей структуре действительные отношения вещей, а также людей к вещам и друг к другу. И появление специальных языков — средство уточнения этих отношений.

¹⁹ Wittgenstein L. The Blue and Brown Books. Preliminary Studies to the "Philosophical Investigations". Oxford, 1958. P. 17.

²⁰ Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1963. P. 12–13.

²¹ Современная идеалистическая гносеология. М., 1968. С. 290.

«Теория семейных сходств»

Однако имеется еще один источник и «монадизма» в понимании языка, и всех трудностей, постигших Витгенштейна при исследовании проблемы значения. Он исходит из того, что ни в одном случае достаточно сложного исследования нельзя найти нечто общее, то, что присуще всем объектам исследования и каждому из них. Между тем философы-метафизики всегда априорно полагали, что это общее есть, и искали его, пренебрегая индивидуальным. Так, Сократ в «Теэтете» Платона последовательно отвергает все предлагаемые ему решения вопроса о знании, исходящие из отдельных конкретных видов знания. Но ведь надо исследовать как раз эти конкретные виды знания для того, чтобы узнать, если это вообще возможно, что такое знание, в чем его «сущность».

Иллюстрируя свою мысль, Витгенштейн приводит в пример игры: настольные, карточные, Олимпийские... Что у них общего? Одни из них похожи на другие, но отличны от третьих. «И результат этого исследования таков: мы видим сложную сеть сходств, накладывающихся друг на друга и пересекающихся. Иногда это полные сходства, иногда сходства в деталях»²². Эти-то сходства Витгенштейн и обозначает термином «семейные сходства» (*family resemblances*) по аналогии со сходствами между членами одной семьи: «сложение, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. д. накладываются и пересекаются таким же образом. И я скажу: “игры” образуют семейство»²³. И в то же время нет сходств, которые проходили бы через все «семейство» игр, как может не быть одной общей черты у всех детей в одной семье, от старшего до младшего.

Таким образом, анализируя *общее как значение слова*, Витгенштейн имеет в виду давно известный, элементарный и простейший способ образования абстрактных понятий, исходящий из допущения, что общее, или (по Локку) абстрактная общая идея, — это выделенное нами посредством отвлечения общее *свойство*, присущее всем исследуемым объектам и каждому из них. Уже сам Локк видел те трудности, которые возникают при таком понимании абстракции, но считал абстрактные общие идеи необходимыми, ибо «ум имеет потребность в таких идеях и всячески стремится к ним для удобства взаимопонимания

²² Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. Oxford, 1963. P. 32.

²³ Ibid. P. 32.

и расширения познания»²⁴. Витгенштейн довел до конца разрушительную критику абстрактных общих идей, развернутую Беркли и Юмом, показав, что далеко не всегда можно обнаружить чувственно воспринимаемое общее свойство, которое смогло бы послужить основой для формирования значения слова, в котором фиксируется нечто общее. И он выдвигает тезис: если речь идет, например, об играх, то «не говорите: «Здесь *должно* быть нечто общее, иначе они не были бы названы “играми”», — но *смотрите* (look and see), есть ли здесь что-либо общее. — Ибо если вы посмотрите на них, вы не увидите чего-то общего *всем*»²⁵.

Да, конечно, надо смотреть на вещи, с тем чтобы увидеть их сходства и различия. Но далеко не все они лежат на поверхности вещей в виде чувственно воспринимаемых качеств. Конечно, если мы видим десяток детишек разного возраста, чем-то похожих друг на друга, мы можем вывести их родство из «семейных сходств», хотя бы не всем из них были присущи одна или две общих черты — папин нос или мамыны глаза. Но действительным «значением» этих семейных сходств будет именно *существенно* общее, не данное непосредственно в этих сходствах, — то, что они дети одной супружеской четы. А генетика, если хотите, даст научный отчет о происхождении этих «семейных сходств».

Иначе говоря, выработка общего понятия не сводится к фиксации каких-то отдельных общих всем явлениям данного класса свойств; в более общем виде — это выведение *закона формирования* этого класса явлений, хотя отдельные из этих явлений могут и не подводиться явно под этот закон²⁶.

Вывод Витгенштейна из «теории семейных сходств» состоял в том, что философия и не должна искать общего, «сущности» вещей. «Философия просто помещает все перед нами и ничего не объясняет, не выводит. — Поскольку все лежит открытым взгляду, объяснять нечего. Ибо то, что скрыто, например,

²⁴ Локк Дж. Избранные философские произведения в двух томах. М., 1960. Т. I. С. 579.

²⁵ Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1963. P. 31.

²⁶ Анализ такого способа образования понятий дает Э. В. Ильенков в книге «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса» (1960) на примере определения человека как существа, производящего орудия труда. С формальной точки зрения это определение не всеобщее, ибо под него не подведешь «таких несомненных представителей человеческого рода, как Моцарт или Рафаэль». Следовательно, надо, как ищет Витгенштейн, разыскивать «семейные сходства» их с другими людьми? Но это определение именно всеобщее, так как производство орудий труда является «реальной всеобщей основой всего человеческого развития, всеобщей генетической основой всего человеческого в человеке» (С. 43).

не представляет для нас интереса»²⁷. Но как же тогда быть со всей классической философией, искавшей ответа на коренные вопросы мировоззрения — вопросы о сущности вещей и смысле познания этой сущности? Здесь мы вновь возвращаемся к «сущности» — *философской, мировоззренческой* сущности доктрины Витгенштейна.

Витгенштейн «Трактата» и «поздний» Витгенштейн

В философской литературе различных стран и различных философских направлений усиленно дебатировался вопрос о соотношении воззрений «раннего» Витгенштейна, автора «Логико-философского трактата», и Витгенштейна «позднего», автора «Философских исследований». Дело в том, что между концепцией «Трактата», усматривающей в системе «языка» математической логики универсальную структуру научного языка вообще, и концепцией «языковых игр» и повседневного языка в «Философских исследованиях», между «языком-исчислением» и «языком-деятельностью», между значением-объектом и значением-употреблением в языке действительно «дистанция огромного размера». Однако в противовес этому можно обнаружить и немало свидетельств того, что «Трактат» и «Философские исследования» взаимосвязаны. В литературе указывается на такие стороны дела, как сохранение общей позитивистской программы («антиметафизичность»), редукционизм в смысле требования сведения абстрактных понятий к «реальным» терминам, выражающим частное, функциональная концепция значения и т. д. И это, конечно, верно. В самом деле, «ранний» и «поздний» Витгенштейн — это один и тот же философ, выдвигающий одну и ту же программу: освобождение от «метафизики». Последняя, как в «Трактате», так и в «Философских исследованиях», решительным образом отвергается, представляясь *бессмысленностью*, которую нужно устранить. «Моя цель, — писал Витгенштейн, — такова: научить вас переходить от замаскированной бессмыслицы к чему-то такому, что представляет собою очевидную бессмыслицу»²⁸.

Удачно разъясняет эту мысль В. Штегмюллер, писавший, что эта бессмыслица, парадокс, выраженный, по Витгенштейну, общей формой философской проблемы: «Я не знаю, как быть»²⁹, — вызывает обычно некоторую реакцию. Одни реагируют на бес-

²⁷ Ibid. P. 50.

²⁸ Ibid. P. 133.

²⁹ Ibid. P. 49.

смыслицу тем, что пребывают в состоянии запутанности, пытаются разрешить неразрешимую проблему, и порождают все новую бессмыслицу. Другие создают теории и системы, некритически их утверждают и погрязают в «метафизике». Третьи — склонны к «бегству в иррациональное». «Когда Витгенштейн выступает против всех этих тенденций, прежде всего кажется естественным, что возникает и усиливается впечатление разрушительности [этой концепции]. Или мы приходим к убеждению, как иногда можно услышать, что Витгенштейн проповедует “безвыходность более высокого порядка”, чем экзистенциализм. И все же это было бы ошибкой. Мы не должны отдаваться каким-либо философским теориям, однако мы и не осуществляем бегства в иррациональное; не является нашей судьбою и пребывать в философской запутанности. Мы можем освободиться от этих проблем, но не путем их разрешения, а отличным от этого способом *преодоления этих проблем*. Философская путаница больше схожа с духовным заболеванием, чем с теоретической постановкой вопроса. Поэтому адекватное философское учение — не *теория*, но *лечение*, или *терапия*»³⁰. Цель этой терапии, передает Штегмюллер мысль Витгенштейна, — «достичь *совершенной ясности*, которая должна состоять в том, что философские проблемы *должны совершенно исчезнуть*»³¹.

Но для того чтобы достичь этой цели, «терапевт» должен знать источник, откуда проистекают философские вопросы (точнее, псевдовопросы). Их источник — язык; их сущность — «грамматические иллюзии», а подлинная философия — это «битва против околдовывания нашего интеллекта средствами языка»³². И битва эта ведется языковыми же средствами: философские проблемы «не являются, конечно же, эмпирическими проблемами; скорее всего, они разрешаются всматриванием в наши языковые действия, так, чтобы заставить нас распознать эти действия, *несмотря* на побуждение неправильно их понять. Проблемы разрешаются не дачей новой информации, а приведением в порядок того, что мы уже знали»³³.

Итак, «новая» формулировка философской проблематики и средств ее разработки во многом повторяет установки логического позитивизма. Ведь, как мы уже видели, еще А. Айер возводил

³⁰ *Stegmüller W. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. 3 Auflage. Stuttgart, 1965. S. 604.*

³¹ *Ibid, S. 605.*

³² *Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1963. P. 47/*

³³ *Ibid. P. 47.*

философские («метафизические») проблемы к лингвистическим ошибкам. Поэтому следует признать, что «лингвистическая философия» Витгенштейна — это *новый этап развития неопозитивизма*, связанный с заменой логического анализа анализом лингвистическим. Как и весь неопозитивизм, лингвистическая философия, т. е. философия лингвистического анализа, сводит философию к *деятельности*, а именно к деятельности анализа обычного языка.

Показательно, что Витгенштейн использует средства лингвистического анализа лишь в качестве иллюстрации своих достаточно абстрактных рассуждений о смысле «новой» философии. Наиболее подробно трактует он в «Философских исследованиях», пожалуй, только проблему «чужого Я», решая ее в бихевиористском плане, но не традиционно, а с точки зрения «языкового поведения». Развернутое изложение смысла и практики применения лингвистического анализа дают Гилберт Райл, Джон Остин и Джон Уисдом.

